
Мила
Ро́ман
DESIGN
INTERIORS
ARCHITECTURE
Влюбить
БОССА
ЗА 90 ДНЕЙ
18+

Мила Роман

Влюбить босса за 90 дней

https://litres.ru/74747204
SelfPub; 2026

Аннотация

Мне нужны деньги, чтобы спасти мамину квартиру. Ему не нужен никто. У меня девяносто дней, чтобы влюбить в себя босса, который никому не верит. И одно правило: не влюбляться самой. Я его нарушу?

Содержание

Глава 1. Последний пирожок 4
Глава 2. Цена одного согласия 21
Глава 3. Семейный фонд 33
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Мила Роман
Влюбить босса за 90 дней

Глава 1. Последний пирожок

Марианна

Банк позвонил, когда я сбегала по лестнице с третьего этажа. Лестница в нашем корпусе помнит, наверное, ещё студентов с логарифмическими линейками: ступени стёрты посередине в мягкие ложбинки, перила липкие от тысяч ладоней. Я прыгала через одну, прижимая к себе папку с распечатками, и считала в уме. Между парами сорок минут. До «Ткача» семь минут бегом. Значит, на еду остаётся двадцать шесть, если очередь не как в прошлый вторник.

Звонок. Номер был длинный, с восьмёркой в начале. Такие номера никогда не приносят ничего хорошего, но я всё равно ответила. Наверное, потому что воспитанная.

— Марианна Олеговна Соколова?

— Да.

— Вас беспокоит отдел по работе с просроченной задолженностью банка «Северный капитал». Вы указаны поручителем по кредитному договору Соколовой Галины Петровны.

Голос был женский, молодой и очень вежливый. Таким

голосом в аэропорту объявляют, что рейс задерживается на неопределённое время, и просят сохранять спокойствие.

Я остановилась у вахты. Тётя Люба подняла глаза от кроссворда, и я отвернулась к стенду с расписанием, будто меня страшно интересовало, где у четвёртого курса физкультура.

— Слушаю.

— По договору образовалась просрочка в сто двадцать шесть дней. Мы неоднократно направляли уведомления по адресу регистрации заёмщика.

Неоднократно. Мама складывала их в обувную коробку на антресолях, не распечатывая. Я знала про коробку. Я тоже её не трогала. У нас в семье было такое правило: если не открывать конверт, то в нём ничего нет.

— Банк принял решение об обращении взыскания на предмет залога, — продолжала девушка ровно, как по бумажке. Скорее всего, по бумажке. — Если в течение девяноста календарных дней задолженность не будет погашена в полном объёме, квартира будет выставлена на торги. Вы понимаете, о чём я говорю?

— Понимаю.

— Желаете обсудить возможность реструктуризации?

— Мы её уже обсуждали. Весной. Вы отказали.

Пауза. Где-то там, в банке, девушка, должно быть, открыла другую вкладку.

— Тогда я обязана вас уведомить, что все дальнейшие

действия будут осуществляться в установленном законом порядке. Всего доброго, Марианна Олеговна.

— И вам, — сказала я в уже гудящую трубку.

Девяносто дней. Я машинально посчитала. Сегодня было второе октября. Значит, примерно до Нового года. Банк дарил нам праздник: ёлку, мандарины и выселение.

— Сонечка, всё хорошо? — спросила тётя Люба. Она звала Сонечками всех студенток подряд, так было проще.

— Всё отлично, — сказала я и толкнула тяжёлую дверь.

На улице дуло. Октябрь в этом году начался сразу с ноября: ветер гонял по асфальту мокрые листья, и в лужах отражалась фабрика. Наш институт стоит прямо напротив неё, через дорогу и трамвайные пути. Красный кирпич, высокие окна в мелкий переплёт, труба, на которой когда-то белыми буквами было написано «ТКАЧ», а теперь осталось «Т АЧ», потому что «К» отвалилась ещё в девяностые. Бабушка проработала там тридцать один год. Я выросла в двух кварталах отсюда и в детстве думала, что фабрика — это такой замок, только без принцессы.

Телефон завибрировал снова. Мама. Конечно, мама: у неё на меня какой-то радар.

— Марусь, ты поела?

— Иду есть.

— Мне тут из банка письмо пришло. Толстое такое. Я пока не открывала, вечером посмотрю.

Я закрыла глаза. Ветер кинул мне в лицо горсть мелкого

дождя.

— Мам, не открывай. Это про новый тариф на обслуживание, они всем рассылают. Я сама разберусь.

— Точно?

— Точно. Всё под контролем.

— Ты у меня умница, — сказала мама с облегчением, и от этого облегчения меня чуть не стошнило прямо на трамвайные пути.

* * *

Кафе «Ткач» занимает бывший буфет при проходной, поэтому у него до сих пор железная вертушка на входе, которая не крутится, и окошко, в котором когда-то выдавали пропуска. Теперь в окошке стоит кофемашина. Над ней меловая доска: «Пирожки 60. Чай 40. Кофе с собой. Обеды с 12 до 15». Сюда ходят все: грузчики со склада в оранжевых жилетах, девочки из колл-центра, айтишники из отремонтированного корпуса, где теперь лофты и стеклянные двери, и студенты, у которых до стипендии двести рублей. Двести рублей у меня и были. Две мятые сотни во внутреннем кармане куртки и обещание Саши из бюро, что бухгалтерия «вот-вот» оплатит мой счёт за сентябрь.

Очередь тянулась до вертушки. Я встала в хвост и начала считать пирожки на витрине. Это у меня с детства: когда нервничаю, считаю. Ступеньки, плитки, пуговицы на чужом пальто.

С капустой кончились. С мясом стоили девяносто и были

для богатых. С яблоком — не еда. С картошкой оставался один. Золотистый, кривоватый, с трещинкой на боку, откуда выглядывала начинка. Мой.

Передо мной стояли четыре человека. Потом трое. Потом двое, и я уже чувствовала во рту вкус картошки с жареным луком, когда последний человек перед стойкой опустил телефон от уха.

До этого он минут пять с кем-то разговаривал. Говорил мало. «Да. Нет. Нет. Переделать». Голос низкий и такой спокойный, что от этого спокойствия хотелось встать по стойке смирно. Я ещё подумала: бедный тот, кому он это говорит. У меня у самой был такой «переделать» в жизни, по пять раз в неделю.

— Капучино, — сказал он тёте Зине. — И вот этот.

Он показал пальцем на витрину. На мой пирожок.

— Подождите! — сказала я вслух раньше, чем подумала.

Он обернулся. И тут я, честно говоря, немного растерялась, потому что ожидала увидеть кого-то другого. Не знаю кого. Командировочного дядьку с портфелем. А это был мужчина лет тридцати, высокий, в тёмном пальто, которое сидело на нём так, как пальто сидят только в рекламе часов. Тёмные волосы, короткая стрижка, жёсткий подбородок с вечерней тенью, хотя был ещё обед. Глаза серые и очень внимательные. Он посмотрел на меня сверху вниз, но не презрительно, а как смотрят на чертёж, в котором заметили ошибку и теперь ищут, где именно.

— Простите, — сказала я, уже понимая, что отступать поздно. — Вы не могли бы взять что-нибудь другое?

— Другое, — повторил он, будто пробовал слово на вкус и вкус ему не нравился.

— Ну да. Вон, «Цезарь» есть. Сэндвич с лососем. Тирамису. Ну возьмите что-нибудь другое. Вы же его даже не съедите. У вас лицо человека, который ест только устриц.

За моей спиной кто-то хрюкнул. Грузчик в оранжевом жилете с интересом вытянул шею. Девочки из колл-центра перестали обсуждать начальницу.

Мужчина в пальто чуть приподнял бровь. На миллиметр, не больше.

— А у вас лицо человека, — сказал он, — который пытается решить свои проблемы за чужой счёт.

— Не за чужой. За счёт пирожка.

— Пирожок пока ничей. А в очереди первый я.

— Зато я первая его увидела. Ещё от вертушки. У нас с ним серьезные отношения.

Теперь засмеялись уже открыто. Тётя Зина, которая за двадцать лет работы видела всё, включая драку двух бригадиров из-за последней ватрушки, упёрла руки в бока.

— Молодые люди, вы мне очередь не держите. Зайка, тебе с собой или здесь?

«Зайкой» был он. Я бы многое отдала, чтобы увидеть, как ещё кто-нибудь в жизни называет его зайкой, но лицо у него не дрогнуло.

— Здесь, — сказал он. — Капучино и пирожок.

Пиликнул терминал. Тётя Зина положила мой пирожок на тарелку. Мой пирожок уехал на подносе в чужую жизнь.

— Девушка, а вам? — спросила тётя Зина уже меня.

Я посмотрела на витрину. Сэндвич с лососем стоил триста восемьдесят. «Цезарь» — четыреста двадцать. Тирамису я даже не стала смотреть, чтобы не расстраиваться.

— Чай. Чёрный.

— И всё?

— И всё.

Сорок рублей. У меня осталось сто шестьдесят до пятницы. Я встала у края стойки ждать, пока заварится пакетик, и разглядывала трещину на кафеле, чтобы не разглядывать никого.

Вот тогда это и случилось. Мужчина в пальто, проходя мимо со своим подносом, остановился рядом. Взял пирожок двумя пальцами, разломил его пополам — ровно, будто по линейке, — и положил одну половину на мою пустую тарелку, рядом с чаем. Ничего не сказал. Даже не посмотрел. Пошёл к столику у окна.

Я застыла. Внутри поднималось что-то горячее и обидное. Я хотела догнать его, швырнуть эту половину ему на поднос и сказать что-нибудь такое, после чего он бы до вечера не мог прийти в себя. Я даже придумала, что именно. И тут мой желудок, не евший с семи утра, заурчал на всё кафе. Громко. С переливами.

Грузчик в оранжевом жилете сочувственно отвёл глаза.

Я взяла пирожок.

Самое обидное, что он был тёплый. Мягкий, с хрустящей корочкой, и картошка внутри была с жареным луком, как я люблю. Я стояла у края стойки, ела половину чужого пирожка и ненавидела себя, его, тётю Зину, банк «Северный капитал» и всё человечество, кроме, может быть, повара. Выбора у меня не было. Ни денег, ни пирожков.

Он сел за столик у окна, где его уже ждали. Напротив сидел пожилой мужчина: седые волосы, зачёсанные назад, мягкий шарф, загорелое лицо человека, который часто бывает там, где в октябре тепло. Он что-то говорил, наклонившись вперёд, и жестикулировал, а мой сноб слушал с каменным лицом и пил капучино. Свою половину пирожка он так и не тронул. Я знала. Я же говорила: устрицы.

Два раза он сказал: «Нет». Я не слышала, но видела по губам. Второй раз — так, что пожилой откинулся на спинку стула и развёл руками.

И тут пожилой посмотрел на меня. Прямо через всё кафе. Посмотрел внимательно, с каким-то весёлым интересом, будто я была не девушкой с половиной пирожка, а неожиданной картой, которая пришла ему в игре. А потом чуть приподнял свою чашку. Как будто за моё здоровье.

Я отвернулась. Часы над кофемашиной показывали двенадцать сорок девять. Пара у Шумилиной начиналась в час десять, а Шумилина опоздавших не пускала, а потом на эк-

замене спрашивала по полной программе с припиской «вы же любите гулять».

Я схватила стаканчик с чаем, недопитым и обжигающим, подхватила папку и рванула к выходу.

Он тоже шёл к выходу. С телефоном у уха, быстрым шагом, не глядя по сторонам. Это я поняла уже потом, когда восстанавливала события, как следователь. В тот момент я поняла только одно: перед дверью вдруг возникло тёмное пальто, и мы влетели друг в друга.

Чай выплеснулся. Весь. На пальто, на рукав, на белоснежную манжету рубашки, которая выглядывала из-под рукава. Папка выскользнула у меня из-под мышки, раскрылась в полёте, как птица, и распечатки веером легли на мокрый кафель у порога, куда весь обед заходили люди с улицы.

На секунду стало очень тихо. Даже кофемашина, кажется, перестала шипеть.

— Вы это специально? — спросил он.

Он не кричал. Он вообще, как я поняла, не из тех, кто кричит. Он сказал это ледяным, ровным голосом, и от этого голоса мне захотелось стать очень маленькой и уйти жить под вертушку.

— Нет! Простите, я… у меня пара, я опаздываю…

— Я заметил. Это ваше основное состояние.

Я выдернула из держателя на стойке пачку салфеток и начала промокать ему рукав. Он отступил на шаг.

— Не надо. Вы делаете хуже.

— Я заплачу за химчистку, — сказала я, и голос у меня дрогнул, потому что я тут же прикинула, сколько стоит химчистка такого пальто. Наверное, как моя стипендия за полгода.

— Не заплатите, — сказал он.

И это было так точно, так безжалостно правильно, что у меня загорелись уши. Я присела на корточки и начала собирать распечатки. Пальцы не слушались. Листы липли к мокрой плитке. На одном уже расплылся грязный след от чьего-то ботинка, прямо по свету из высоких окон, который я рисовала до трёх ночи.

Он тоже присел. Я думала, чтобы помочь, и уже собиралась сказать, что справлюсь сама. Но он поднял один лист и замер.

Это была визуализация ткацкого цеха. Того самого, через дорогу. Я рисовала его таким, каким он мог бы стать: кирпичные стены, оставленные как есть, со следами от старых креплений; огромные окна до потолка; длинные деревянные столы, за которыми сидят люди с ноутбуками и с детьми; и посередине, под стеклянным колпаком, настоящий старый ткацкий станок, бабушкин, который я срисовала с фотографии из заводского музея. В углу листа стоял логотип бюро, мелкими буквами, как положено: «Демидов и партнёры».

Он смотрел на лист. Слишком долго. Я видела, как его глаза двигаются по картинке: от окон к столам, от столов к станку. Потом к логотипу в углу. Потом снова к станку.

Я ждала, что он что-нибудь скажет. Что-нибудь едкое. Например, что так не рисуют. Что это наивно. Что свет мёртвый.

Он ничего не сказал. Протянул мне лист, поднялся, отряхнул мокрый рукав одним коротким движением и вышел. Дверь за ним качнулась на петлях.

Я смотрела через стекло, как он переходит двор и скрывается в отремонтированном корпусе, в том самом, со стеклянными дверями. Мокрое пятно на его плече было видно даже отсюда.

— Сноб, — сказала я вслух. — Сноб в мокром пальто.

— Да ладно тебе, — сказал грузчик в оранжевом жилете, проходя мимо. — Пирожком то он поделился.

* * *

На пару я всё-таки успела. Влетела за минуту до звонка и упала на скамью рядом с Катей. Шумилина посмотрела на меня поверх очков, но промолчала.

— Ты чего красная? — шёпотом спросила Катя.

— Бежала.

— От кого?

Я рассказала ей коротко, пока Шумилина включала проектор. Про пирожок. Про устриц. Про чай на пальто. Про банк не рассказала. Про долг Катя и так знала больше, чем кто-нибудь ещё в мире, и я не хотела видеть у неё на лице то самое выражение, с которым смотрят на человека, у которого кто-то умер. Хватит. Мне его хватило два года назад.

— Красивый? — спросила Катя.

— Не заметила.

— Значит, красивый, — кивнула Катя и записала в тетрадь тему лекции.

— Катя!

— Соколова, — сказала Шумилина, не оборачиваясь от экрана. — Вам тоже интересно, или вы пришли пообщаться?

Мне было неинтересно. Мне было никак. Полтора часа я смотрела на слайды с интерьерами двадцатых годов и думала не про конструктивизм, а про то, как он смотрел на мой цех. Будто узнал. Будто видел его раньше.

* * *

Сообщение от Саши пришло вечером, когда я уже ехала в трамвае к маме. Мама в эту неделю работала в ночь, в круглосуточной аптеке на Заводской, и я ночевала у неё, чтобы квартира не стояла пустой. Так я говорила маме. На самом деле я просто не могла спать в общаге, зная, что в обувной коробке на антресолях лежат конверты.

Рабочий чат «Фабрика / визуал» обычно молчал, кроме тех случаев, когда Саша кидал туда очередной скриншот с красными пометками. Пометки ставил не Саша. Их ставил шеф.

«Внимание, коллеги. Завтра в 11:00 Г. Д. хочет лично видеть всех дизайнеров по Ткачу. Большая переговорная. Мари, ты тоже должна быть. Без отмазок».

Я написала: «У меня пара в 11».

Саша ответил через минуту: «Прогуляешь. Г. Д. не переносит встречи. Г. Д. переносит людей. В другие бюро или на улицу».

И смайлик. Саша был добрый человек, и смайлик должен был смягчить. Он не смягчил.

Я работала на бюро «Демидов и партнёры» пять месяцев. Удалённо, вне штата, по договору, за деньги, которых хватало ровно на общагу, проезд и иногда на маму. Саша нашёл меня на студенческом конкурсе и написал сам: им нужен был кто-то, кто быстро и недорого рисует визуализации. Я рисовала быстро. И недорого. И за пять месяцев ни разу не видела человека, на которого работаю.

Зато я знала его почерк. Красная линия в электронном файле, тонкая и злая, и всегда одно и то же слово.

«Свет мёртвый. Переделать».

«Люди не сидят на таких диванах. Вы когда-нибудь на таком сидели? Переделать».

«Это не цех, это морг. Переделать».

И подпись: Г. Д.

Я представляла его так: лет пятидесяти, лысеющий, с животом, в свитере с оленями, потому что архитекторы старой школы всегда носят свитера. Сидит в кабинете, где все стены увешаны дипломами, пьёт растворимый кофе из кружки «Лучшему начальнику» и ставит красные пометки, получая от этого почти физическое удовольствие. Я его почти любила. Как любят хорошего врага: он был удобный. Все мои

неудачи можно было складывать к нему в карман.

Теперь мне предстояло с ним встретиться. Завтра в одиннадцать.

«Хорошо», — написала я Саше.

* * *

Мамина квартира пахла её духами, валерьянкой и жареной картошкой: мама жарила её каждый вечер перед сменой, даже если не успевала поесть. На кухне всё было так же, как два года назад. Клеёнка в мелкие лимоны. Магнит с Анапой на холодильнике. Папина кружка с отбитой ручкой на верхней полке, из которой никто не пил, но и выбросить её никто не мог.

Я поставила табуретку под антресоли и достала обувную коробку.

Конвертов было одиннадцать. Я разложила их на клеёнке по датам, как пасьянс, и начала открывать. Медленно. Ножом для масла, чтобы не порвать.

Кредит мама взяла три года назад, когда папе нужна была операция, а потом курс лечения, которого не было в квоте. Квартира ушла в залог, а я пошла в поручители, потому что банку нужен был поручитель. Мне было девятнадцать, и я не понимала, что подписываю. Нет. Я понимала. Мне просто было всё равно, что подписывать, если это поможет папе.

Не помогло. Папа умер в феврале, через полтора года. Долг остался.

В последнем письме была таблица. Основной долг. Про-

центы. Пени. Неустойка. Расходы на взыскание. Итоговая сумма внизу, жирным шрифтом.

Три миллиона четыреста двенадцать тысяч триста восемь рублей.

Я смотрела на эту цифру, и она никак не хотела становиться настоящей. Я знала, что долг большой. Мама говорила «большой», я говорила «большой», и мы обе, кажется, договорились не уточнять. Теперь уточнение лежало передо мной на клеёнке с лимонами.

Я открыла калькулятор на телефоне. Стипендия — три тысячи двести. Фриланс — от двадцати до сорока, когда как и когда бухгалтерия соизволит. Мамина зарплата фармацевта — тридцать восемь, из которых она больше половины отдавала банку, пока не перестала, потому что надо было что-то есть.

Я посчитала. Если я не буду есть, пить, платить за общагу, ездить на трамвае, покупать краски и болеть, то я закрою этот долг через семь лет и четыре месяца.

У меня было девяносто дней.

В коробке под конвертами лежал ещё листок. Сложенный вчетверо, из блокнота в клетку. Я развернула. Папин почерк, крупный, с наклоном влево, потому что он был левша:

«Галя, не волнуйся. Прорвёмся. Я тебе обещаю».

Я сложила листок обратно. Положила его на дно коробки. Сверху положила конверты, по датам. Закрыла крышку, поставила коробку на антресоли и слезла с табуретки.

Плакать я не стала. Если начать сейчас, я не остановлюсь до утра, а утром мне надо быть в переговорной с лицом человека, которому платят за визуализации, а не человека, которого через девяносто дней выселят вместе с мамой. Я умылась холодной водой, налила себе чаю в обычную кружку и села у окна. Отсюда была видна труба. «Т АЧ». Без «К». Бабушка говорила: «Фабрике без буквы ничего, она и так всё помнит».

Телефон тренькнул в половине первого ночи.

Неизвестный номер. Сообщение.

«Марианна? Я сидел за соседним столиком. Сегодня вы поругались с моим племянником. Это был Глеб Демидов. Давайте выпьем кофе, я угощаю. И пирожков будет сколько угодно. В. А.».

Я прочитала его один раз. Потом второй. На третий до меня дошло.

Глеб Демидов.

Г. Д.

«Свет мёртвый. Переделать».

Не пятьдесят лет. Не свитер с оленями. Тёмное пальто, серые глаза и мой пирожок с картошкой, разломленный ровно, как по линейке. И мой чай на его белой манжете.

И следом пришла ещё одна мысль, медленно, как холод по спине. Откуда человек за соседним столиком знает моё имя? И мой номер?

До собрания в большой переговорной оставалось десять с

половиной часов.

— Ну всё, — сказала я пустой кухне. — Переделать.

Глава 2. Цена одного согласия

Марианна

Я проспала три часа и проснулась от того, что в замке повернулся ключ. Мама пришла со смены в восемь, пахнущая аптекой и холодом, с пакетом из круглосуточного магазина.

— Ты чего не в общаге? — спросила она, заглядывая в комнату.

— Соскучилась.

— Врёшь, — сказала мама и улыбнулась. Она всегда так говорила, когда я врала, и всегда при этом улыбалась, потому что не верила, что я вру всерьёз.

Она поставила чайник, я пошла в душ. Пока вода текла по лицу, я репетировала. «Здравствуйте, Глеб…» — как его по отчеству? Я не знала его отчества. Я не знала о нём ничего, кроме того, что он не любит мёртвый свет, диваны, на которых никто не сидел, и девушек с чаем. «Здравствуйте. Меня зовут Марианна, я рисую ваши визуализации. И я вчера облила вас чаем. И назвала снобом. Правда, уже после того, как вы ушли, так что это не считается».

Из всей моей одежды на собрание годился только серый пиджак, купленный на защиту курсовой. Я надела его, джинсы и ботинки, посмотрела в зеркало и решила, что выгляжу как студентка, которая пытается выглядеть не как студентка. Это было честно.

В десять пятнадцать, когда я уже стояла на остановке, пришло сообщение от Саши.

«Отбой, коллеги. Г. Д. улетел в Казань, там на объекте форс-мажор. Собрание переносится. Дату скажу».

Я выдохнула так, что женщина рядом обернулась. А уже через секунду, мне стало обидно. Я вообще-то готовилась. Даже пиджак надела.

В десять сорок телефон тренькнул снова. Тот же номер, что ночью.

«Я понимаю, что моё сообщение выглядело странно. Не волнуйтесь, я не маньяк. Я просто дядя. Ресторан Фрегат на набережной, сегодня в час. Речь о вашей маме. В. А.».

Речь о вашей маме.

Я стояла на остановке в своем пиджаке и смотрела, как мимо проходит мой трамвай, на котором я должна была ехать на пару по истории искусств. Потом второй.

* * *

«Фрегат» был из тех мест, мимо которых я ходила всю жизнь, но ни разу не заходила, потому что у входа стоял швейцар. Настоящий, в ливрее, с золотыми пуговицами. Я посчитала пуговицы, пока он открывал мне дверь. Восемь.

Внутри было тихо и пахло деньгами. Белые скатерти. Окна в пол, за ними река, серая и широкая. Официанты двигались бесшумно, как в аквариуме.

Мужчина помахал мне рукой. Он сидел у окна. Тот самый пожилой человек из кафе: седые волосы назад, мягкий

шарф цвета топлёного молока, загар. Ему было лет шестьдесят. Но держался легко, по-молодому, и встал, когда я подошла. Встал, отодвинул мне стул. Мне в жизни никто не отодвигал стул.

— Марианна. Спасибо, что пришли. Виктор Аркадьевич Демидов.

Голос у него был тёплый, бархатный, такой, каким в старых фильмах читают сказки. Рукопожатие сухое и крепкое. На мизинце перстень с тёмным камнем.

— Откуда у вас мой номер? — спросила я вместо «здравствуйте».

Он засмеялся. Хорошо засмеялся, необидно.

— Прямо с порога. Вы мне нравитесь всё больше. Садитесь, пожалуйста, я заказал.

Официант поставил передо мной тарелку. На тарелке, на белой салфетке, лежали маленькие пирожки. Шесть штук. Румяные, аккуратные, как с картинки.

— С картошкой, — сказал Виктор Аркадьевич. — Здесь их не подают, но шеф мне кое-чем обязан. Я ведь обещал: сколько угодно.

Я не притронулась к ним. Я положила руки на колени и сжала пальцы.

— Откуда у вас мой номер?

— Я старый человек, Марианна. У меня много знакомых, и все они любят помогать. — Он развёл руками, и перстень поймал свет. — Номер — это мелочь. Я знаю, что вы на

пятом курсе дизайна интерьера, хотя должны были закончить в прошлом году. Знаю, что брали академический отпуск. Знаю, почему. Мне очень жаль вашего отца.

У меня похолодели кончики пальцев.

— Знаю, что вы пять месяцев рисуете для бюро моего племянника и что он платит вам непростительно мало, хотя, может быть, и не знает об этом: деньгами у него занимается бухгалтер. Знаю, что ваша мама работает фармацевтом на Заводской. И знаю про «Северный капитал». Три миллиона четыреста, если не ошибаюсь? С копейками.

Я встала.

— До свидания.

— Сядьте, — сказал он мягко. Не приказал. Попросил. Но так, что я почему-то осталась стоять, а не ушла. — Сядьте, я не враг. Я пришёл предложить вам выход. Выслушайте, а потом уйдёте, если захотите. Двери здесь, как видите, открывают до того как вы попросили об этом.

Я села на край стула.

Он налил мне воды из графина. Подождал, пока я сделаю глоток. Он вообще всё делал так: подождёт, нальёт, отодвинет. Как будто я была гостьей, которую он давно ждал.

— Мой племянник, — начал он, — очень талантливый и очень одинокий человек. Пять лет назад с ним случилась одна история, неприятная. Невеста, партнёр. Не буду утомлять. С тех пор он закрылся. Работает по шестнадцать часов, ни с кем не встречается, никому не верит. Семье это, как вы

понимаете, больно.

— Сочувствую, — сказала я. — При чём здесь я?

— При том, что вчера в кафе произошло то, чего я не видел давно. С ним поругалась девушка. И он ответил. Он не отвернулся, не надел наушники, не ушёл. Он ответил, Марианна. А потом еще и поделился с вами пирожком. — Виктор Аркадьевич покачал головой, будто до сих пор не верил. — Вы первая за пять лет, он обратил на девушку внимание. И этой девушкой оказались вы. Он запомнил вас. Я видел его лицо. А потом он увидел ваш рисунок. Глеб так смотрит только на рисунки. Ни на одну женщину он так не смотрел.

— Он смотрел на свой логотип. Я на него работаю.

— Вот именно, — сказал он, будто я сказала что-то очень умное. — Вы на него работаете. Вам даже не придётся ничего изобретать.

Он откинулся на спинку стула и сцепил пальцы на колене.

— У меня к вам деловое предложение. Девяносто дней. За это время Глеб должен в вас влюбиться и сделать вам предложение. Помолвки достаточно. Что будет дальше, решите сами: свадьба, расставание, мне всё равно. Пять миллионов. Долг вашей мамы будет закрыт, и останется на жизнь, на диплом, на что захотите. Пятьсот тысяч аванса — сразу, сегодня, в знак того, что я не шучу.

Он сказал это так же ровно, как вчера банковская девушка сказала про торги. Только голос был теплее.

Я смотрела на него и ждала, что он засмеётся. Скажет:

«Шутка, вас снимает скрытая камера». Он не смеялся. Он подвинул ко мне тарелку с пирожками.

— Вы хотите, — сказала я медленно, — чтобы я соблазнила вашего племянника за деньги.

— Какое некрасивое слово. Я хочу, чтобы мальчик перестал быть один. А деньги — это чтобы вам было не страшно. Ведь вам страшно, Марианна. Я же вижу.

— Зачем это вам? Правда?

На долю секунды что-то мелькнуло у него в глазах. Не тепло. Что-то другое, быстрое и холодное, как рыба под водой. И тут же исчезло.

— Семейные дела. Скучные. Если согласитесь, расскажу. Если нет, вам это ни к чему.

Я встала. На этот раз по-настоящему.

— Я не продаюсь, — сказала я. — Даже за пирожки.

И пошла к выходу, чувствуя спиной его взгляд. Я хотела хлопнуть дверью. Хотела, чтобы стёкла задрожали и бесшумные официанты подпрыгнули. Но швейцар с восемью пуговицами успел раньше: он открыл передо мной дверь, а потом мягко, без звука, закрыл её за мной. Даже уйти красиво мне в этом месте не дали.

На набережной ветер ударил в лицо. Телефон в кармане тренькнул.

«Номер у вас есть. Не торопитесь. В. А.».

Я удалила сообщение. Номер — нет.

* * *

Вечером у мамы был выходной, и она испекла пирог с картошкой. Когда я вошла, вся квартира пахла тестом и праздником, и мама стояла у плиты в фартуке с подсолнухами, раскрасневшаяся и какая-то слишком весёлая.

— Мой руки, — сказала она. — У меня для тебя сюрприз.

Я мыла руки и смотрела на себя в зеркало над раковиной. Лицо как лицо. Никто бы не сказал, что сегодня днём этому лицу предложили пять миллионов за то, чтобы влюбить в себя человека. Интересно, как выглядит лицо, которое соглашается?

На кухне мама разрезала пирог, положила мне самый большой кусок, с краешком, как я люблю, и только потом достала из кармана фартука конверт. Обычный почтовый конверт, а в нём деньги. Тысячные, сложенные пополам.

— Вот, — сказала она гордо. — Семь тысяч. Отнесём в банк. Пусть видят, что мы платим.

— Мам. Откуда?

Она отвела глаза. Совсем немного, на секунду, но я знала эту секунду.

— Бабушкины серёжки. Я в ломбард отнесла. Ну а что они лежат, Марусь? Я их не ношу, у меня уши не проколоты с тех пор, как заросли. А тут хоть польза.

Бабушкины серёжки. Маленькие гранатовые капли на тонких золотых крючках. Бабушка надевала их по праздникам, на Первое мая, на Новый год и на день ткача, который на фабрике отмечали так, как сейчас не отмечают ничего.

Когда я была маленькая, я сидела у неё на коленях и трогала эти капли пальцем, а она говорила: «Вырастешь, твои будут». Они стоили копейки. Семь тысяч. Ноль целых двадцать одна сотая процента от суммы жирным шрифтом.

— Мам, — сказала я и не знала, что сказать дальше.

— Я письмо открыла, — сказала мама тихо. И села напротив. И положила руки на клеёнку с лимонами, и руки у неё были такие же, как у бабушки в конце: с проступившими венами, с коротко остриженными ногтями. — То, толстое. Там не про тариф, Марусь. Там про торги.

В кухне было слышно, как капает кран. Я давно собиралась его починить.

— Я знаю, — сказала я.

— Что же нам делать?

Вот тогда я снова соврала. Второй раз за два дня, глядя ей прямо в глаза.

— Я договорюсь. Мам, я поговорю с юристом из нашего бюро, у них есть юрист, он разбирается. Там можно оспорить пени. Там всё незаконно наполовину. Всё будет нормально.

Мама посмотрела на меня долго, а потом кивнула. Она хотела мне верить. Она так хотела мне верить, что поверила.

— Ты у меня умница, — сказала она во второй раз за два дня.

Я доела пирог. Весь кусок, с краешком. Потом сказала, что пойду в душ, закрыла дверь ванной, включила воду на полную, села на край ванны и заплакала.

Я не плакала два года. Даже на похоронах не плакала: стояла рядом с мамой, держала её под руку и думала, что если я сейчас заплачу, то мама упадёт. Теперь все эти два года выходили из меня разом, некрасиво, с икотой, в мамино полотенце с вышитой уткой, и вода шумела, чтобы мама не услышала. Я плакала про папу. Про серёжки. Про то, что мне двадцать два года, а я поручитель, и что слово «поручитель» звучит как приговор. Про пирожок с картошкой, который мне разломили пополам, как подачку. Про человека в ресторане, который знал про меня всё и решил, что меня можно купить.

Когда вода в бойлере кончилась и пошла холодная, я умылась и вышла.

— Ты чего так долго? — спросила мама из комнаты, сквозь телевизор.

— Голову мыла.

— А чего сухая?

— Феном высушила, — сказала я, хотя у мамы не было фена уже лет пять.

Мама не переспросила.

* * *

На следующий день у института меня ждали.

Я вышла после третьей пары, в половине третьего, и сразу его увидела. Мужчина лет сорока стоял у ограды, как будто ждал трамвая. Аккуратный, в сером пиджаке и светлой рубашке без галстука, с папкой под мышкой. Такой может быть

кем угодно: страховым агентом, преподавателем, родителем первокурсника. Но он смотрел на меня. Не на поток студентов, а на меня, и пошёл навстречу, как только я спустилась с крыльца.

— Марианна Олеговна? Добрый день. Меня зовут Эдуард, я представляю интересы коллекторского агентства, которому банк передал работу по вашему договору. Не волнуйтесь, ничего страшного. Просто поговорим. Можно я вас провожу до остановки?

Он не спрашивал. Он уже шёл рядом.

Он говорил тихо и вежливо, и ничего такого, за что можно было бы пожаловаться, в его словах не было. Он объяснил, что агентство заинтересовано в мирном урегулировании. Что торги — это долго и неприятно для всех. Что если у нас есть возможность внести хоть какую-то сумму, это будет учтено. Он ни разу не повысил голос и ни разу мне не угрожал.

А потом, уже у остановки, сказал:

— Ваша мама ведь работает на Заводской, в круглосуточной? Ночами, говорят, там совсем одна. Я бы на вашем месте волновался. Район, знаете ли, неспокойный. Всякое бывает.

Он улыбнулся. Улыбка была вежливая и пустая, как у манекена.

— Вот моя карточка. Звоните, если надумаете.

Он ушёл, а я осталась стоять с карточкой в руке. Карточка была белая, плотная, с золотым тиснением. Я заметила, что

у меня дрожат пальцы, и сунула руку в карман.

Подошёл мой трамвай. Я не села. Подошёл следующий. Я села на лавку под навесом остановки и смотрела через дорогу на фабрику. На трубу с выпавшей буквой. На окна цеха, того самого, что я рисовала до трёх ночи, с бабушкиным станком под стеклом.

И начала торговаться. Сама с собой.

Это же не убийство, говорила я себе. Не кража. Это даже не совсем ложь. Люди всё время чего-то хотят друг от друга, когда знакомятся. Кто-то хочет квартиру, кто-то прописку, кто-то просто чтобы не быть одному. Половина браков в мире начинается с расчёта, и ничего, живут. Он взрослый человек. Он сам решит, влюбляться ему или нет. Я никого не заставлю. Я просто попробую. А если он не влюбится, значит, не судьба, и я верну аванс. Или не верну. Или…

Я себе не верила. Ни одному слову. Я знала, что это гадко. Я помнила, как он смотрел на мой рисунок, — так, будто ему показали что-то, что он сам давно хотел увидеть. Я помнила, что он разломил пирожок пополам, хотя мог бы просто уйти.

Я подумала о маме в аптеке ночью. Одну. За стеклянной дверью, которая открывается кнопкой. И это вежливая пустая улыбка. Мой шеф бы сказал «мертвая».

Я достала телефон. Нашла номер, который удалила вчера из сообщений, но не из памяти. Открыла переписку. Пальцы дрожали, и я дважды стёрла первую букву.

Наконец я написала одно слово.

«Условия?»

Отправила. И тут же пожалела. Хотела удалить, но под сообщением уже стояли две галочки. Прочитано.

Через несколько минут не пришло сооющение. Это был банк. Мой банк, не «Северный капитал», а тот, в котором у меня карта со стипендией.

«Зачисление 500 000,00 . Баланс: 500 160,00 ».

Сто шестьдесят рублей были мои. Остальное — нет.

Следом пришло ещё одно сообщение.

«Рад, что вы приняли верное решение. Завтра в десять, офис Демидов-Строй, Кутузова, 14, двенадцатый этаж. И, Марианна: никто не должен знать. Даже ваша мать. В. А.».

Я сидела на остановке. Мимо проходили трамваи. На том берегу дороги стояла фабрика без одной буквы и всё помнила.

Глава 3. Семейный фонд

Марианна

Здание на Кутузова, 14, было из тех, что строили лет десять назад для будущего, которое так и не наступило. Стекло, бетон, вращающиеся двери, охранник за стойкой из серого камня. Двенадцатый этаж целиком принадлежал «Демидов-Строю», о чём сообщали золотые буквы прямо напротив лифта.

Я дизайнер. Ну, почти. Я замечаю такие вещи, даже когда не хочу. И я заметила, что половина этажа стоит тёмная. Что за стеклянными перегородками пустые столы, а на некоторых — коробки, перемотанные скотчем. Что на ковролине у входа серое пятно, которое никто не отчистил. Что фикус в огромной кадке у ресепшена засыхает: нижние листья жёлтые, земля потрескалась. Фикус в такой кадке стоит тысяч тридцать. Его не поливают, когда всем становится не до фикусов.

Девушка на ресепшене подняла на меня усталые глаза.

— Вы к Виктору Аркадьевичу? Проходите, он ждёт. Последняя дверь.

Я пошла по длинному коридору. В руках я держала папку — свою, с распечатками, потому что не знала, что ещё держать в руках, когда идёшь продавать себя.

* * *

Андрей

Я увидел её из своего кабинета. У меня стеклянная стена в коридор: отец считал, что руководство должно быть на виду, и пятнадцать лет назад это казалось ему очень современным.

Девушка шла по коридору медленно, как идут на экзамен, к которому не готовились. Худенькая, тёмные волосы собраны кое-как, серый пиджак явно не по размеру в плечах. Прижимала к груди папку, как щит. Очень молодая. Моложе, чем я думал.

Я знал, кто она. Отец не сказал мне её имени, но две недели назад за ужином, после третьей рюмки, произнёс фразу, от которой у меня до сих пор сводило скулы: «Глебу нужна девушка. Правильная. Я найду». Я тогда решил, что это коньяк. Отец часто говорит за ужином вещи, которые наутро забывает.

Он не забыл.

Она прошла мимо моей стены и не посмотрела на меня. Остановилась у отцовской двери, подняла руку постучать и замерла. Секунды на три. Я видел, как она закрыла глаза. Потом постучала.

Мне надо было встать. Выйти. Догнать её, сказать: «Уходите отсюда. Вы не понимаете, во что ввязываетесь». Я даже отодвинул кресло.

А потом я посмотрел на экран. На экране был открыт файл, который я составлял третью неделю. Список. Триста одиннадцать фамилий. Бригадиры, сметчики, водители, Ни-

на Семёновна из бухгалтерии, которая работала у отца ещё когда он был маленький. И внизу, отдельной строкой, мои девчонки: Лиза и Варя, шесть и девять лет, у которых в январе заканчивается оплаченный год в школе.

Я придвинул кресло обратно. Закрыл файл.

Я ничего не сказал. Я сидел в своём стеклянном кабинете и смотрел, как за ней закрывается дверь. Это у нас семейное: закрывать двери.

* * *

Марианна

Кабинет Виктора Аркадьевича был большой и тёплый, весь в дереве и коже. Здесь фикусы поливали. Здесь пахло кофе и чем-то сладким, табачным, хотя пепельниц не было видно. На стене висели фотографии. Я подошла ближе, пока он заканчивал телефонный разговор, и стала разглядывать.

Чёрно-белые снимки строек. Краны над котлованами, рабочие в касках, улыбающиеся в объектив. Плотный седой мужчина с волевым подбородком перерезает ленточку у панельного дома. На следующей — тот же мужчина, постарше, с медалью на лацкане. Рядом — двое молодых: один высокий, серьёзный, другой пониже, улыбчивый, в нём я узнала Виктора Аркадьевича лет в тридцать.

И одна цветная. Летняя, выгоревшая. Деревянный дом на берегу реки, мостки, и на мостках мальчик лет восьми с удочкой. Тёмные волосы торчат вихром, на носу облупилась кожа. Мальчик смотрел в камеру серьёзно, без улыбки, как

смотрят на взрослых, которые мешают ловить рыбу.

— Это Глеб, — сказал Виктор Аркадьевич у меня за спиной. Он уже положил трубку. — На Волге, у отца на даче. Ему тут восемь. В тот год он разобрал мои часы.

Он поддёрнул рукав пиджака и показал мне часы. Старые, механические, на потёртом кожаном ремешке. Странные для человека с перстнем на мизинце.

— Разобрал до винтика, на газете, пока я спал после обеда. Я проснулся, увидел и чуть не умер. А он посмотрел на меня вот так, — Виктор Аркадьевич кивнул на фотографию, — и сказал: «Не мешай, я понял, как они работают». И собрал. Одна деталь осталась лишняя. А часы пошли. Тридцать с лишним лет идут. Я их не снимаю.

Он сказал это с такой нежностью, что мне стало не по себе. Я почему-то думала, что он будет говорить о Глебе как о проблеме. А он говорил как о ребёнке, которого любит. И при этом платил мне, чтобы я этого ребёнка обманула. Я не знала, что страшнее: если бы он врал про нежность или если бы не врал.

— Садитесь, Марианна. Кофе? Нет? Как хотите. Вы хотели знать зачем. Я обещал рассказать.

Он сел не за стол, а в кресло напротив меня, как будто мы были не заказчик и исполнитель, а родственники на семейном совете.

— Человек на фотографиях — мой отец. Аркадий Ильич Демидов. Начинал прорабом, закончил управляющим круп-

ной компании. В девяностые компания развалилась, а отец не развалился. Он построил вот это. — Виктор Аркадьевич обвёл рукой кабинет, этаж, здание. — «Демидов-Строй». Жилые дома, школы, две больницы. Когда он умер, шесть лет назад, основные деньги семьи он оставил не нам, а фонду. Семейному фонду. С очень странным завещанием.

Он помолчал.

— Этот высокий рядом со мной — мой старший брат. Павел. Отец Глеба. Павел был любимцем. Умница, архитектор, отцовская гордость. Погиб, когда Глебу было четырнадцать. Авария. Отец так и не оправился. И перенёс всё на внука. — Виктор Аркадьевич чуть улыбнулся, без радости. — Старик вбил себе в голову, что Глеб без семьи пропадёт. Что он слишком похож на отца: всё в работу, ничего в жизнь. И написал в завещании, что деньги фонда не будут выплачиваться никому — ни мне, ни Андрею, ни кому-либо ещё, — пока Глеб не женится.

— Это вообще законно? — спросила я.

— Вполне. Юристы проверяли. Многократно. — Он развёл руками. — Глеб над этим только смеётся. Ему ничего не нужно от семьи, ни денег, ни советов. У него своё бюро, своя жизнь, и он скорее съест свой диплом, чем женится, потому что так велел дед. Особенно после той истории.

— А вам нужны деньги.

Он посмотрел на меня. Тепло, внимательно. И кивнул.

— Мне нужны деньги. Мы много строили последние го-

ды. Брали кредиты под будущие поступления. Казалось, что успеем, что Глеб остепенится, что всё как-то устроится. Не устроилось. Банки дали нам девяносто дней. Тридцать первого декабря компанию заберут за долги. Всё это. — Снова жест рукой. — Дело моего отца. Мой сын, который здесь работает. И триста человек, у которых в январе не будет работы.

Восемь лет. Часы. Триста человек. Тридцать первое декабря.

У нас с ним был один и тот же Новый год.

— Он не должен ничего знать, — сказал Виктор Аркадьевич. — Никогда. Если Глеб узнает, что его подталкивают, он не женится даже под дулом пистолета. Из чистого упрямства. Он такой с восьми лет.

Он встал, подошёл к столу и вернулся с толстой синей папкой. Положил мне на колени.

— Здесь всё, что вам нужно. Не бойтесь, ничего неприличного. Просто человек.

Я открыла. И сразу пожалела.

Это было похоже на досье из шпионского фильма, только написанное любящим родственником. Распечатанные листы, аккуратные подзаголовки.

«Распорядок». Встаёт в шесть. По вторникам и четвергам бассейн, в семь утра, до работы. В бюро с девяти до ночи. Обедает в «Ткаче» с тех пор, как снял офис на фабрике, почти каждый день, в половине первого. Капучино без сахара.

«Не любит». Ложь. Опоздания. Когда трогают его карандаши. Когда говорят «потом», «постараюсь». Людей, которые «умеют себя подать, но кроме этого ничего не умеют».

«Любит». Старый джаз. Водонапорную башню на Луговой, говорит, что это лучшее здание в городе. Плавать. Тишину. Мечтает о собаке.

«Не упоминать». Кира.

Под этим словом была фотография: Глеб лет двадцати пяти, моложе и мягче, с улыбкой, которую я бы у него никогда не заподозрила, и рядом девушка. Блондинка, тонкая, в светлом платье, с таким лицом, какие бывают у моделей в журналах про красивую жизнь. Она смотрела не в камеру, а куда-то в сторону. Как будто уже тогда знала, куда уйдёт.

Я закрыла папку. У меня было чувство, что я заглянула в чужую квартиру через замочную скважину и увидела человека, который думал, что он один.

— Вот ещё. — Виктор Аркадьевич протянул мне банковскую карту. — На расходы. Одежда, такси, салоны. Вы должны чувствовать себя уверенно.

— Нет.

Он приподнял брови.

— Только долг, — сказала я. — Ни копейки сверх. Мне не нужны ваши салоны.

Он посмотрел на меня с интересом. Так, наверное, коллекционер смотрит на марку, которая оказалась дороже, чем он думал. Потом убрал карту в карман.

— Как скажете. Но предложение остаётся в силе.

Я встала, прижимая к груди синюю папку, свою папку и свою гордость, которой осталось совсем немного, но я её всё равно несла.

— Виктор Аркадьевич. А если он не влюбится?

Он улыбнулся. Той же тёплой улыбкой, что и в ресторане.

— Влюбится. Я знаю своего мальчика. Вы, главное, не влюбитесь сами. Это было бы… непрофессионально.

* * *

В общаге у нас с Катей комната на двоих, четырнадцать метров, два окна во двор. Катя развела на подоконниках джунгли: фиалки, кактусы, лимон из косточки, который за три года вырос до колена и ни разу не зацвёл. Я обычно говорю, что живу в оранжерее, где мне сдают угол.

Катя слушала меня молча. Это было самое страшное: Катя никогда не слушает молча. Она сидела на своей кровати по-турецки, прижимая к себе подушку, и смотрела то на меня, то на синюю папку у меня на коленях, то опять на меня.

Когда я закончила, она долго молчала. Потом сказала:

— Ты сошла с ума.

— Да.

— Марианна, это же… Это как в сериале. Только в сериале все не по-настоящему.

— Покажи его. — Катя отбросила подушку.

Я открыла папку на фотографии с Кирой и закрыла пальцем Киру. Катя наклонилась, посмотрела. Посмотрела ещё.

Откинулась назад.

— Ну… — сказала она. — Ну, я тебя, в принципе, понимаю.

— Катя! Это не из-за этого!

— Знаю, что не из-за этого. — Голос у неё стал серьёзный. — Я знаю, из-за чего. Сколько у тебя времени?

— Девяносто дней.

— А если не получится?

— Тогда маму выселят. А я верну аванс. Как-нибудь.

— А если получится? — тихо спросила Катя. — Ты об этом подумала? Что будет с ним, когда он узнает?

Я не подумала. Вернее, подумала, но так быстро, что не успела почувствовать. Как трогают горячую сковородку.

— Он не узнает.

Катя посмотрела на меня так, что я отвернулась к лимону.

Потом я достала блокнот. Обычный, на пружине, с котом на обложке, для набросков. Открыла на чистой странице и написала сверху крупно: «ПРАВИЛА». Подчеркнула. Подумала и дописала: «Чтобы не стать сволочью».

— Ты серьёзно? — спросила Катя.

— Абсолютно.

Я писала, а она читала через плечо.

«1. Не спать с ним ради сделки. Никогда.

2. Никогда не говорить ему о сделке. И вообще никому не говорить. Кроме Кати.

3. Не вредить его бюро. Ни словом, ни делом. Работать

честно.

4. Не брать ни копейки сверх долга. Ни салонов, ни такси, ни платьев.

5. Выйти из игры, если станет больно кому-то, кроме меня».

Катя хмыкнула.

— Кодекс самурая для мошенницы.

— Я не мошенница.

— Ты взяла у человека пятьсот тысяч, чтобы влюбить в себя другого человека, Мари. Ты мошенница. Просто с кодексом. — Она забрала у меня блокнот и ручку. — Шестой пункт забыла.

— Какой?

Катя написала. Я посмотрела.

«6. Не влюбляться».

— Это даже не обсуждается, — сказала я. — Он сноб. Он забрал мой пирожок. Он пишет «переделать» на всём, что я делаю.

— Ага, — сказала Катя. Зачеркнула ручкой шестой пункт и написала его заново карандашом. Бледно, еле видно.

— Зачем карандашом?

— Чтобы потом стереть было легче.

Я отобрала блокнот. Она засмеялась, а потом перестала смеяться, подсела ко мне и обняла. Крепко, по-настоящему, как обнимают перед операцией.

— Я тебя прикрою, — сказала она мне в волосы. — Что бы

ни было. Слышишь? Только не делай глупостей. Больших, я имею в виду. Маленькие ты уже сделала.

* * *

На следующий день, между парами, я пошла в отделение «Северного капитала» и внесла на мамин счёт пятьсот тысяч. Операционистка посмотрела на меня с уважением, будто я ограбила кого-то крупнее, чем она сама. Маме я сказала, что юрист из бюро договорился о частичном погашении и что бюро дало мне аванс под будущие проекты. Третья ложь. Я начала их считать, как пирожки на витрине, как пуговицы на ливрее швейцара. Мне казалось, что, пока я их считаю, я ещё не пропала.

Вечером, в половине девятого, ожил рабочий чат.

«Коллеги, Г. Д. вернулся из Казани. Собрание дизайнеров по Ткачу — завтра, 10:00, большая переговорная. Мари, теперь без вариантов, ты ему нужна лично. Принеси распечатки».

Лично.

Я смотрела на это слово, когда пришло ещё одно сообщение. С того самого номера. Я даже не удивилась, что он уже знает. Я начинала понимать, что он всегда всё знает.

«Идеально. Вам даже не придётся ничего подстраивать. В. А.».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.